

ЖИЗНЬ В ГРАНИЦАХ ЛИТЕРАТУРЫ: РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ-ПСИХОАНАЛИТИКИ

АЛЕКСАНДР ЭТКИНД

Модной и, одновременно, вечной темой филологии является поиск взаимных связей между литературой и жизнью. В какой степени текст определяется исторической эпохой и биографией автора, — и в какой степени жизнь автора, его читателей и, следовательно, эпохи определяется текстом? Любопытно, что разные филологи, в соответствии со своими интересами, приписывали *особо* плотные связи между жизнью и литературой той эпохе, которой занимались: Виктор Жирмунский — йенскому романтизму; Владислав Ходасевич — русскому символизму; Юрий Лотман — романтизму Радищева и декабристов; Ирина Паперно — реализму Чернышевского...

Вполне сходная проблема возникает, когда пытаешься разобраться в судьбах и текстах людей не вполне литературных — психоаналитиков и их пациентов. В психоанализе проблема влияния текста на жизнь является первостепенной и эксплицитной: не было бы влияния — не было бы и клинического метода. В аналитической ситуации порождаются, интерпретируются и трансформируются тексты (снов, ассоциаций и пр.); больше ничего и не происходит, но работа с текстами, как предполагается, влияет на жизнь пациента. С другой стороны, вся история психоанализа показывает, что важным источником профессиональных инструментов аналитика — его теорий, метафор, риторик и т.д. — была и остается художественная литература.

Лермонтов в предисловии к «Герою нашего времени» сравнивал писателя с врачом так: врач лечит пороки человека, писатель — пороки общества; врач ставит диагноз и дает лекарства, писатель — ставит диагноз и пишет текст... В дальнейшем эти роли становились все более

взаимозаменяемыми: врач то и дело становился автором, писатель — пациентом, и оба писали друг о друге.

В дискурсе Фрейда разница между текстами литературы и текстами клиники стиралась до исчезновения. «При всем моем восхищении Достоевским <...> я его не люблю. Это потому, что моя терпимость к патологическим случаям истощается во время анализа»,¹ — писал Фрейд. Текст, неотличимый от других «случаев», становится в одну очередь с ними; зато при необходимости текст, как хорошо изученный пациент, помогает понять новую историю болезни. Озабоченный своим русским пациентом Сергеем Панкеевым (вошедшим в историю психоанализа под совершенно литературной кличкой Человек-волк), Фрейд рассуждал: «даже те русские, которые не являются невротиками, весьма заметно амбивалентны, как герои многих романов Достоевского».² Сам Панкеев вспоминал, как один из аналитических сеансов, которые проводил с ним Фрейд около 1914 г., был посвящен сну Раскольникова.³ В мемуарах и интервью этот пациент воспроизводил, вслед за своим аналитиком, характерное смешение литературы и жизни.

Рассказывая о своей жизни и лечении, он говорил об Обломове и Ставрогине, Толстом и Горьком, Пастернаке и Солженицыне. То он сравнивает себя со всеми братьями Карамазовыми поочередно, то с самим Достоевским, то и с Эдгаром По... Некоторые из его рассуждений глубоко филологичны: например, он без особой на то причины начинал доказывать сходство между обстоятельствами смерти Верховенского в «Бесах» и смерти Льва Толстого: «Вы помните роман «Бесы»? <...> Он <Толстой> даже умер точно так же, как Верховенский. Этого никто никогда не замечал, по крайней мере я нигде не читал о такой параллели».⁴ Здесь интересна не точность наблюдений Панкеева и тем более не их новизна, а методология. Обученный Фрейдом, Панкеев подмечает именно то, что стало важнейшей темой филологии: отношения текста и следующей за ним жизни, реализацию сюжета в биографии.

Современные Фрейду русские литераторы, в отличие от Панкеева, не прошедшие психоанализа, не хуже видели сходство глубоких интенций анализа и филологии, а соответственно и ту опасность, которой грозит психоанализ литературе. В метрополии и эмиграции Фрейда перечи-

тивали самые неожиданные люди, такие как Иван Ильин, Михаил Кузмин, Корней Чуковский, Владислав Ходасевич и Владимир Вейдле. Осип Манделъштам писал о «язве психологического эксперимента», из-за которого русская проза 1920-х г. становилась «клинической катастрофой».⁵ Под влиянием книжного знакомства с Фрейдом и его методом, в пореволюционное время формировался жанр литературных переложений и изживаний психоанализа, вплоть до фельетонов Набокова. Сюда могут быть отнесены, в частности, роман Мариэтты Шагинян «Своя судьба» (1916, вышел в 1923), пьеса Николая Евреинова «Самое главное» (1920), повесть Андрея Платонова «Счастливая Москва» (середина 30-х), роман Всеволода Иванова «У» (около 1932). Главный герой последнего, сумасшедший психоаналитик, переживает пост-модернистское разочарование в рациональности вообще и ее практических приложениях в особенности.⁶

Вместе с тем, практическая ориентация психоанализа привносит новые и важные интонации в знакомую филологу тему *текст-жизнь*. Осознание своей жизни важно не само по себе, а для того, чтобы изменить ее. Не прочтя текст, нельзя его переписать. Аналитик помогает пациенту прочесть скрытый текст его жизни в надежде, что само чтение и, так сказать, критика этого текста поможет его трансформировать в иной текст, по некоторым критериям лучший. В отличие от филолога, аналитик надеется, что само порождение текста-сознания уничтожает подтекст-подсознание, и потому пациент, ставший автором, отныне свободен от старых подтекстов. Иначе говоря, выявление подтекста освобождает от него. По крайней мере, в этом цель анализа; другое дело, насколько она осуществима.

В этом смысле психоанализ оставляет человеку больше свободы от текста, чем филология. Когда Фрейд выявлял в поведении Панкеева подтексты Достоевского, то он надеялся, что само это понимание поможет Панкееву вести себя иначе, не воспроизводить более этот подтекст, освободиться от Достоевского. Филолог же, имеющий дело с законченным текстом и, как правило, с завершенной жизнью, строит более тоталитарные модели.⁷ Когда Лотман писал о самоубийстве Радищева как прямой реализации им же написанных текстов; когда Ходасевич писал о романах Белого как о другой форме его эдиповых комплексов; когда Паперно выявляла в браках Чернышевского и его современников подтексты его романа, — они не оставляли

своим героям никакой лазейки: все, что делает автор, отражается в тексте; все, что сказано в тексте, принадлежит автору; в поведении воспроизводится все, что сказано; и единственный способ изменить жизнь — это написать новый текст.

О Лу Андреас-Саломе немецкий писатель Курт Вольф говорил: «Ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке». ⁸ Она родилась в Петербурге и прожила там первые 20 лет своей жизни. В семье говорили по-немецки, но у Лели была русская няня и гувернантка-француженка, а училась она в частной английской школе. «У нас было чувство, что мы русские», — вспоминала она, замечая тут же, что слуги в доме были татары, швабы и эстонцы. ⁹ На чем была основана эта индентичность?

Вероятно, ответ может быть только один: на русской литературе. Интересно проследить, как жизнь Лу Саломе на Западе программировалась литературой и как она умела навязывать этот опыт своим западным партнерам, а под их влиянием вырабатывала некий литературный «синтез» между Россией и Европой, Лермонтовым и Ницше, Соловьевым и Фрейдом. . .

«Вряд ли когда-либо между людьми существовала большая философская открытость», — писал Ницше о своем общении с двадцатилетней Лу, руки которой он домогался в 1882 г., как раз перед написанием «Так говорил Заратустра». ¹⁰ Еще до этой встречи Ницше читал Лермонтова и писал о нем с восторгом; возможно, этот отзыв Ницше о Лермонтове ¹¹ относится к «Демону», написанному за полвека до «Заратустры», но странно его напоминающему. ¹² Взаимоотношения Ницше и Саломе были исключительно литературными. Их роман подчинялся международному коду романтических переживаний; до близости дело не дошло, и Саломе избежала участи лермонтовской Тамары. Фрейд тоже знал «Демона» и обсуждал его сюжет с пациентом: сестра Панкеева покончила собой на могиле Лермонтова, и Фрейд со знанием дела комментировал этот гипер-романтический случай. ¹³

Друзья Ницше считали, что «из его иллюзий о Лу родилось настроение Заратустры». ¹⁴ Трудно судить о том,

в какой степени буквально можно принять популярную в литературе о Саломе интерпретацию, согласно которой сам образ Заратустры был литературным портретом двадцатилетней русской девушки. Ненавидевшая Саломе сестра философа выражалась о ней определенно: «Не могу отрицать, это действительно воплощенная философия моего брата».¹⁵ Последняя же писала об отношении жизни и литературы более тонко: «Когда Ницше уже не насилует своей души, когда он свободно выражает свои влечения, <... > он ищет в самом себе и вне себя спасительный идеал, противоположный своему внутреннему существу».¹⁶

Биографы Лу Саломе не могут объяснить, почему она вышла замуж за Фреда Андреаса, сорокалетнего знатока восточных языков. Это произошло в июне 1886 г. По требованию Саломе, которое было выдержано в течение многих десятилетий совместной жизни, брак не включал в себя сексуальной близости между супругами. До нас дошли описания неудовлетворенной страсти Андреаса и сопротивления, которое исходило от Лу и которое она никогда, даже в своих поздних мемуарах не объясняла.

В России традиция нереализованных браков была заложена за поколение до Лу Саломе.¹⁷ Следуя ответу Чернышевского на его же вопрос *Что делать?*, молодые люди вступали в фиктивные браки, которые не реализовывались в сексе. Так жили супруги Чернышевские, Бакунины, Шелгуновы, Ковалевские... В одних случаях эти браки вели в конце концов к обычной семейной жизни; в других супруги предоставляли друг другу полную свободу; в третьих формировались разного рода альянсы. Отрицанию, таким образом, подвергался не брак, как у старообрядцев-безбрачников, а секс в браке. У этой своеобразной традиции тоже были давние корни, религиозные и литературные; во всяком случае, она сыграла значительную роль в русской культуре, передаваясь из поколения в поколение. На рубеже 19-го и 20-го веков примерно такой же характер имели браки Мережковских, Бердяевых, Андрея Белого и Аси Тургеневой, Сологуба и Чеботаревской, Блока и Менделеевой-Блок, Бриков...

Странный брак Лу Андреас-Саломе получает смысл именно в этом контексте. Еще до брака с Андреасом она пыталась выстроить асексуальные отношения с философом Полем Рэ, приглашая в них, в качестве третьего партнера, Ницше; дело было через четверть ве-

ка после знаменитых русских альянсов Шелгуновых-Михайлова и Обручевой-Бокова-Сеченова... Помимо литературных текстов, был и вполне определенный посредник между молодой Саломе и старой уже русской традицией: Мальвида фон Мейзенбуг, друг Герцена и воспитательница его дочери, автор «Мемуаров идеалистики», хозяйка римского салона, в котором она искала новых форм отношений между полами.

Потеряв в конце концов девственность — ей было уже за тридцать, — Саломе вновь пытается осуществить свой проект в виде сожительства со своим мужем и с Рильке. Естественно, что втроем они, как на паломничество, едут в Россию. «В его воображении поэта Россия вставала как страна вещей снов и патриархальных устоев», — писала о Рильке его русская знакомая Софья Шиль.¹⁸ Всю свою жизнь он пытался приобщиться именно к такой России: учил язык, писал стихи о русских богатырях и монахах, переписывался с русскими поэтами. В его последние дни с ним была его русская секретарша.

Пасхальная неделя 1899 г. в Москве подтверждает скажочные ожидания. Саломе, Андреас и Рильке встречаются с Леонидом Пастернаком, крестьянским поэтом Спиридоном Дрожжиным и самим Львом Толстым. Их русские собеседники не разделяли их восприятия России, и с ними не было той духовной близости, какая возникает у Рильке (но не у Саломе) с новым поколением русских.¹⁹ Та Россия, которой поклонялся Рильке, превратится в чудесную сказку и для этих людей, чудом выживавших в коммуналках или в эмиграции.

У Саломе такой близости не возникнет более никогда. Поэтическое визионерство, привязываемое Рильке к России, теперь кажется ей преувеличенным и даже нездоровым. Расставаясь с Рильке, Саломе преодолевала собственные романтические клише; возможно, в самом Рильке она смогла разглядеть их лучше. Литературная любовь к России, которая раньше сближала ее с Рильке, теперь разлучает их.

Встретившись в 1911 г. с Фрейдом, Андреас-Саломе выделяла два фактора, которые сделали ее восприимчивой к психоанализу: то, что она выросла среди русских, и то, что она жила с таким писателем, как Рильке. Со своей стороны, Фрейд ценил в Лу ее своеобразие, которое он именовал словом «синтез», тем более значительным

в этом контексте, что оно антонимично любимому слову самого Фрейда — анализу: «Каждый раз, как я читаю Ваши замечательные письма, я удивляюсь Вашему искусству выходить за пределы сказанного. Естественно, я не всегда иду здесь за Вами. Я редко испытываю такую потребность в синтезе».²⁰

Романтизм Ницше и психоанализ Фрейда синтезировались у Андреас-Саломе с идеями всеединства, восходящими к Соловьеву и другим религиозным философам России.²¹ Перебирая литературные традиции, Лу Андреас-Саломе всякий раз выходила за их пределы; в этом, возможно, был секрет ее эротической привлекательности для людей литературы. Она осваивала сюжет, но находила силы выходить из него; партнер, продолжая жить в нем, оставался один. Фрейд точно подметил ее главную особенность: «искусство выходить за пределы сказанного».

* * *

Эмилий Метнер, бывший цензор (выпустивший в печать, между прочим, «Стихи о Прекрасной Даме» Блока, которые считались кощунственными), литературный критик и глава знаменитого издательства «Мусагет», проходил психоанализ у кого-то из московских аналитиков в начале 1910-х гг. Причины и симптомы болезни Метнера были известны в символистских кругах. Жена Эмилия «после сложной и великодушной борьбы» стала подругой его брата, Николая Метнера, знаменитого композитора.²² После этого у Эмилия начались «припадки — мучительный шум в ушах и дикие головные боли»; они «наступали, как только Э<милий> К<арлович> слышал какие-то музыкальные звуки». Редко когда симптомы возникают с такой логической прямоотой, с завершенностью отредактированного текста. Надо, конечно, иметь в виду, что мы знаем эту историю (как, впрочем, и другие подобные) лишь как нарратив, уже прошедший литературную обработку.

Застигнутый войной 1914 г. в Мюнхене, Метнер был выслен в Швейцарию. В Цюрихе он знакомится с Юнгом и, видимо, тогда же Юнг начинает лечить его психоанализом. Об их отношениях, необычно близких для аналитика и пациента, говорят письма Юнга, хранящиеся в московском архиве,²³ и еще продукты их общего труда: в Цюрихе по-русски были напечатаны три тома «Избранных трудов

по аналитической психологии» Карла Юнга, авторизованное им издание под общей редакцией Эмилия Метнера.²⁴ Второй и третий тома подготовленного им издания вышли в свет только в 1939 г., после смерти Метнера. В своих предисловиях к этим томам Метнер всячески обосновывал непрерывность литературной традиции, которая в работах Юнга находила для него свое естественное продолжение; первый том Метнер даже издал под старым грифом «Мусагета». «Символический продукт бессознательного должен действовать освободительно», — провозглашал Метнер и попеременно с Юнгом цитировал Вячеслава Иванова. Соответственно, и Юнг для Метнера — «больше, чем психоаналитик».

Книга была восторженно встречена рецензией Бориса Вышеславцева в эмигрантском журнале «Путь», ориентированном в традиционном религиозно-философском русле.²⁵ В своей «Этике преображенного эроса» Вышеславцев и сам пытался, в традициях всеотзывчивости, соединить «христианский платонизм и открытия современного психоанализа».²⁶ Лишь образы Христа воскресшего да еще града Китежа способны «сублимировать хаос русского подсознания», — писал Вышеславцев.

Летом 1929 г. в Давосе Метнер вновь, после многих лет, встретился с Вячеславом и Лидией Ивановыми. Они сидели в кафе, когда заиграла музыка. Метнер, однако, не реагировал: «результат лечения Юнга», — объяснил он. «Все болезненные признаки прошли, он стал нормальным человеком и даже с благословения самого Юнга начал принимать больных и сам лечить их психоанализом», — вспоминала Лидия. После этой встречи с Метнером Иванов посвящает ему свой написанный еще в 1917 г. сонет «Порог сознания»: для него преображение Метнера вписывалось в старый литературный контекст. А Лидия Иванова воспринимала результат анализа так: «на меня лично образ Метнера произвел крайне угнетающее впечатление: он мне представился как бы человеком, отчасти уже мертвым, который еще ходит и действует нормально. <...> Душа уже <...> ампутирована. Этого добился Юнг своим психоанализом? Но какая же плата!».²⁷ Платой за анализ стало расставание с литературой. После эффективного лечения Метнер настолько освободился от старых, понятных Ивановым подтекстов, что в разговоре, который оживлялся старыми символами и клише, он выглядел мертвецом.

Иванов получил тогда от Метнера том «Психологических типов» Юнга на русском языке. Как литературное произведение, эта книга Иванову не понравилась: он видел в ней «рапсодическое настроение» и «покушение свести все, безостаточно, на одну психологию».²⁸ Все же новое состояние Метнера далеко отклонилось от символизма, хотя он сам не готов был это признать. Вместе с тем, Иванов, оговаривая неокончателность своей критики, оценил дух предисловия Метнера: «Из моего протеста против Юнга не делайте вывода, что я осуждаю выход "Псих<ологических> типов" под маркою «Мусагета». Считаться с Юнгом стоит, и «Мусагет» еще выяснит окончательно со временем свое отношение к его теориям, независимость коего уже и в предисловии слегка намечена».²⁹ И правда, уже в этом письме восприимчивый Иванов пользуется идеями Юнга, оборачивая их, естественно, на литературу: «думаю, что романтики — внутрь обращенные типы, в противоположность классикам», — рассуждает Иванов в специфических терминах юнговских «Психологических типов» (там же).

По словам дочери, Иванов следил за трудами Юнга и после той встречи; возможно, что между ним и Юнгом были еще какие-то контакты. Во всяком случае, в позднем этюде «Аніта» Иванов ссылается на Юнга, а в статье о Лермонтове (1947) использует не только специфическую терминологию (архетипы), но и более общую схему психоаналитического понимания.

В России начала 1910-х гг. психоанализ был воспринят быстро и без характерного сопротивления, с которым встречали его более стабильные общества. У русских, писал Фрейд в 1912 г., «началась, кажется, подлинная эпидемия психоанализа».³⁰ Во всяком случае, вплоть до 30-х гг. он оставался одной из важных составляющих русской интеллектуальной жизни.³¹

Макс Эйтингон, Сабина Шпильрейн, Николай Осипов, Моисей Вульф, Татьяна Розенталь, Иван Ермаков были психоаналитиками, которые обучались или консультировались у самого Фрейда, Юнга или Абрахама около 1910 г. Дальнейшая судьба их была различной, но почти у всех развивалась на пороге эмиграции. Эйтингон жил в Гер-

мании, но его судьба оставалась весьма своеобразно связанной с Россией. Розенталь, Осипов и Вульф вернулись в Россию незадолго до революции. Розенталь покончила с собой в 1921 г. Осипов и Вульф вновь, и навсегда, уехали на Запад в 20-х гг. Вульф вместе с Эйтингоном основали психоаналитическое общество в Израиле. Осипов вместе со своим учеником, Федором Досужковым, положил начало чешскому психоанализу.³² Психиатр Николай Краинский преподавал в Варшаве. Ермаков, оставшись в Москве, стал организатором советского психоанализа.

Почти все они писали о русской литературе: Розенталь — о Достоевском (в деталях предвосхитив трактовку его Фрейдом); Осипов — о Гоголе и Достоевском; Ермаков — о Пушкине и Гоголе (книга о Достоевском так и осталась неопубликованной); Краинский — о Толстом. Их вкусы, как видно, не отличались особой новизной.³³ Трактовки, однако, были оригинальны.

Николай Краинский, директор Колмовской психиатрической больницы (где ему пришлось лечить, в частности, Глеба Успенского), автор ученых книг «Порча, кликуша и бесноватые» (1900) и «Основные принципы энергетике в связи с абсурдами современной физики» (1908), стал более известен своей статьей о сексуальном садисте, инспекторе учебного округа Н. Г. Косаковском. Статья чуть было не довела доктора до дуэли; эта история, в жизни происшедшая в 1909 г. (статья опубликована в 1912), повторяла самые жуткие сцены «Мелкого беса» (1907) и, возможно, была — как факт и/или как нарратив — стимулирована романом.

Эмигрировав, Краинский продолжал совмещать довольно необычные литературные занятия с не менее своеобразными психиатрическими наблюдениями. В белградской брошюре «Лев Толстой как юродивый» Краинский возложил на писателя всю ответственность за русскую катастрофу. «Разрушитель русской культуры, сеятель разгрома и анархии», Толстой заразил своей проповедью «толпы людей, падших морально и слабых умом».³⁴ Краинский знает силу литературы по себе: «мы — молодежь того времени — ее слабо понимали, но чем запретнее был плод, тем был он слаще <... > Целые волны недоучившейся молодежи шли в так называемые толстовские колонии, где жили полукоммунами, полумонашескими братствами <... > почти сплошь люди падшие, полубольные».³⁵ Лю-

бопытно, что в данном случае разочарование в литературе не распространялось на научную психологию. «Великий писатель <...> брался прежде всего за психологический анализ без знания психологии»,³⁶ — в этом один из грехов Толстого.

В своих горьких эмигрантских воспоминаниях Краинский литературно описывает свое участие в обороне Киева (где его приключения доктора с винтовкой весьма напоминают эпизоды «Белой гвардии» и «Дней Турбиных»), расстрелы в подвалах, ужасы бегства из Крыма, разложение нравов в лагере на Лемносе, эмигрантскую тоску в Белграде, отказ белых офицеров от идеалов старой России. Он включает сюда что-то вроде психобиографии Тухачевского, и сочувственно рассказывает о теософских экспериментах с гипнозом, и вспоминает собственную лабораторию... «Задача психолога — снять маски с людей, но не всегда удается ее решить», — рассуждает Краинский.³⁷

Действительно, сила его анализа отстает от богатства его жизненного опыта: «То, что переживает теперь культурный мир, есть агония страшной психической эпидемии <...> Все симптомы душевного расстройства современного общества — налицо: обманы памяти, искажение прошлого, иллюзии, бредовые идеи, резонерство, дикое буйство и бессмысленное поведение <...> На арене сумасшедшего дома, которую теперь представляет почти вся поверхность земного шара, люди мечутся в тоске и страхе, зараженные лживыми лозунгами, всех ненавидящие и злые <...> Будущее цивилизованного человечества страшно <...> Что касается русской эмиграции, я считаю ее песнь спетою, ибо дело ее разложения совершено».³⁸ Поучительно видеть, как и эта мизантропия, — искренний итог необычайно трудной жизни, — принимает формы литературной традиции: «И также <...> будет взывать о помощи весь мир! Не будет славных русских моряков, самоотверженно спасавших погибающих в Мессине от землетрясения», — так кончается книга Краинского. За 25 лет до этого той же самой Мессиной грозил России Блок.³⁹ Та эпоха кажется Краинскому «сказочно прекрасной»;⁴⁰ и, бессознательно воспроизводя ее метафоры, он получает удовольствие от текста, не замечая, что сам акт заимствования меняет значение тропа на противоположное.

Интересно сравнить восприятие одних и тех же литературных тем у оставшегося в Москве Ермакова и у

эмигрировавшего Осипова. Дело аналитика — находить в тексте нечто такое, что в нем не сказано прямо; а выявление подтекста неизбежно основывается на проекции собственного опыта, эмоционального и литературного. Ермаков ищет и находит эту эмоциональную подоснову, которая для него везде — в «Вие» так же, как и в «Маленьких трагедиях» — одна: страх.⁴¹ От текстов Ермакова исходит ощущение его собственного страха, безнадежности и самоцензуры; он ищет в текстах то, чем живет сам, но, находя только страх, боится высказать его до конца, и находки его никуда не ведут и ничего не меняют. . . «Есть что-то безнадежное, тщетное во всем том, к чему приводят наши ожидания и волнения, как события жизни, так и повседневные явления», — так начинал Ермаков свой анализ повестей Гоголя. «Глядят мертвецы, глядят и ждут гибели, ждут, и страшно делается слабому, жалкому человеку». Ермаков лишился своих постов в середине 1920-х гг. Гибели, однако, ждать было еще долго. В 1940 г. он был арестован по стандартному обвинению и через два года умер в лагере.

Ровесник Ермакова, потом русский беженец (1921) и доцент Карлова университета в Праге, Николай Осипов тоже искал подтексты, причем мысль его работала, до некоторого момента, в том же направлении. «Страшное у Гоголя и Достоевского» — так называется одна из главных его статей.⁴² Но если Ермаков показывает, что русские писатели, а также их герои все время чего-то боятся, то Осипова интересует то, как они преодолевают страх. «Как черта выставить дураком» — эта фраза Гоголя представляется Осипову главной его мыслью. Во взрослом и мужественном человеке иррациональное, согласно дефинициям Осипова, вызывает не *страх*, а *жуть*. «Невротики и психотики испытывают страх там, где здоровый человек может переживать, самое большое, *жуть*».⁴³

Любовь и смерть, их сплетение между собой — основной итог анализа. «Ошибка многих фрейдистов, в том числе Ермакова, в том, что они ложно приписывают Фрейду пансексуализм < . . . >. Фрейд утверждает наряду с *основным* сексуальным влечением еще *другое основное* влечение, влечение к смерти».⁴⁴ Во фрейдовской идее влечения к смерти, обычно воспринимаемой как трагическая, Осипов видит потенциал мужества. «Страх смерти есть невротический симптом», — писал Осипов незадолго до своей смерти.⁴⁵ «Гоголь и Достоевский, хотя и сами стра-

дают инфантильно-архаическими страхами, должны научить нас преодолевать эти страхи». ⁴⁶ Так, применительно к анализу литературы, реализуется программный замысел психоанализа: выявление текста есть путь к освобождению от него.

Под сильным и разнообразным русским влиянием была написана главная теоретическая работа позднего Фрейда — «По ту сторону принципа удовольствия». Фрейд предложил здесь считать Танатос, влечение к смерти, столь же фундаментальной движущей силой человеческого поведения, как и Эрос, влечение к жизни, любви и продолжению рода. Во время работы над этим текстом Фрейд возвращается к своим прежним русским интересам: он перечитывает Достоевского и пишет новое послесловие к своему очерку о Панкееве. Идея единства любви и смерти была характерной для русской культуры рубежа веков. Эта идея осуществлялась в разных формах: в антисексуальной прозе Толстого, в которой любовь непременно ведет к смерти; в поздних статьях Соловьева; в некрофильских повестях Сологуба; в дионисийской лирике Иванова; в драмах Леонида Андреева; в философии Бердяева; и, наконец, в карнавальных мечтах Бахтина.

Фрейд, мало знавший об этих исканиях русских писателей (впрочем, читавший и, вероятно, лично знавший Мережковского), не мог проигнорировать работ своей ученицы Сабины Шпильрейн. Русская пациентка и подруга Юнга (которому она на вершине любви так же читала Лермонтова, как за 30 лет до нее — Лу Саломе для Ницше), Шпильрейн стала доктором психиатрии университета Цюриха, членом Венского, Женевского и потом Русского психоаналитических обществ. ⁴⁷ Идея влечения к смерти была высказана ею задолго до Фрейда. ⁴⁸ Он сослался на нее так: «В одной богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению, не совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений». ⁴⁹ Фрейд признает этим формальный приоритет Шпильрейн, но русский контекст делал статью Шпильрейн «непонятной». Именно литературой насыщена работа Шпильрейн, в которой цитаты из Юнга перемежаются пересказами Пушкина и Гоголя, явные ссылки на Ницше и Фрейда — ощутимой зависимостью от русских символистов.

Самая романтическая фигура в истории психоанализа, Сабина Шпильрейн вернулась в 1923 г. в Россию, чтобы внести вклад в строительство утопии. Она прожила русскую половину своей жизни в нищете, одиночестве и страхе. Когда к Ростову-на-Дону, в котором она жила, подходили нацистские войска, Сабина Николаевна могла эвакуироваться, но решила остаться вместе с дочерьми в оккупированном городе и была немедленно расстреляна. Мало кто из русских добровольно возвращался из Европы в 1923 г., накануне большевистского геноцида; и мало кто из евреев добровольно оставался в Ростове в 1941, накануне нацистского геноцида.

Принимая стратегически важные решения, Шпильрейн руководствовалась, похоже, тем самым влечением, которое сама впервые описала языком «науки». Соединяя психологический опыт русской литературы с литературными открытиями психоанализа, Шпильрейн лучше или, по крайней мере, раньше других поняла деструктивные силы собственной души; но это знание не помогло ей от них освободиться. В этой необыкновенной биографии мы вновь наблюдаем программирующее влияние литературы; но в отличие от истории Лу Андреас-Саломе, показывающей возможность «выхода за пределы сказанного», здесь влияние латентного текста кажется трагически непреодолимым.

Подобно тому, как Радищев не спасся от самоубийства «своими медитациями о нем»,⁵⁰ самоанализ Шпильрейн не помог ей уйти от реализации своего влечения к смерти. Принципиальная разница в том, что Радищев писал и умирал в рамках романтического дискурса, Шпильрейн же пыталась войти в дискурс модерна. В первом осуществление текста в жизни признавалось высшей добродетелью героя; успех второго определялся его способностью изменить автора, разорвать связь жизни и текста.

* * *

Амбивалентная заинтересованность Россией, характерная для Фрейда и особенно для его окружения, сочеталась с острым интересом к ее социалистическому эксперименту. Сам Фрейд сначала с надеждой, потом с отчаянием следил за развитием событий в Советской России: «Советский эксперимент <...> лишил нас надежды и ил-

люзии, не дав ничего взамен». ⁵¹ В июне 1933 г. Фрейд писал: нацистская Германия «начала с того, что объявила большевизм своим злейшим врагом; она кончит чем-то таким, что будет от него неотличимо»; но если выбирать из этих безнадежных альтернатив, Фрейд предпочитал русских: «большевизм, как никак, заимствовал революционные идеи, а гитлеризм является абсолютно средневековым и реакционным». ⁵²

Ряд ближайших учеников Фрейда были социал-демократами, поддерживавшими русскую революцию. Альфред Адлер был женат на русской эмигрантке, социалистке крайних взглядов Раисе Адлер-Эпштейн. Одним из пациентов Адлера в Вене был большевик-эмигрант Адольф Иоффе, ученик и друг Троцкого. Из истории его болезни, доложенной Адлером на заседании Венского психоаналитического общества в 1909 г., очевиден острый интерес к русским событиям; смущение перед чересчур крайними идеями пациента принимало форму причудливых аналитических интерпретаций. Адлер знал и самого Троцкого, который возлагал на психоанализ утопические надежды. Работа с Иоффе дала Адлеру материал, сыгравший важную роль в формировании его собственной версии психологии, придающей первостепенное значение не только сексуальному либидо, но и влечению к власти. Реализуя своей трагической судьбой тексты Адлера, Иоффе стал крупнейшим большевистским дипломатом и деятелем троцкистской оппозиции, а оказавшись не у власти, покончил с собой.

С судьбой самого Троцкого переплелась деятельность другого эмигранта, одного из лидеров мирового психоаналитического движения Макса Эйтингона. Родившийся в Могилеве, он с детства жил в Германии, учился в одном из центров русского студенчества на Западе — на философском факультете в Марбурге, а потом занялся медициной. После защиты докторской диссертации в Цюрихе, Эйтингон становится близким учеником и другом Фрейда. В 1926 г. он избирается президентом Международной психоаналитической ассоциации. Он был богат и из личных средств финансировал многие начинания германских аналитиков; помогал он и русским эмигрантам. На своей берлинской вилле в Тиргартене он охотно принимал и тех, и других. У Эйтингона читали свои произведения Ремизов и Шестов; последний был связан с Эйтингоном многолетней дружбой, а его сестра Фаня Ловцкая была психоана-

литиком и работала у Эйтингона. Как вспоминал Арон Штейнберг, «приезды Шестова в Берлин давали поэтому доктору Эйтингону желанный повод собирать у себя, наряду с людьми собственной школы, также и эмигрантскую интеллигенцию из разных стран». ⁵³ По его словам, в «психоаналитическом салоне» Эйтингона были популярны идеи «духовной революции»; их обсуждали между собой знающие люди — евразийцы во главе с П. П. Сувчинским и психоаналитики во главе с самим Эйтингонем. Бывали здесь и белый генерал Скоблин, двойной агент советского НКВД и нацистского СД; песни его жены, знаменитой Надежды Плевицкой, придавали русский дух чересчур космополитическому обществу. В общем, берлинский салон Макса Эйтингона следует признать одним из интеллектуальных центров русской эмиграции 1920-х гг.

Считалось, что состояние Эйтингона досталось ему по наследству. Недавно найденные документы ⁵⁴ показывают, что Макс Эйтингон был совладельцем предприятия, которое занималось торговлей поступающими из Советской России мехами. Это и был источник его состояния. Его компаньоном был человек, которого берлинские аналитики знали как «сводного брата Макса» (реальная степень их родства неизвестна) — Наум Эйтингон, организатор и участник зарубежных операций НКВД. По крайней мере в одной из уголовных афер своего «брата» — похищении генерала Миллера — психоаналитик Макс Эйтингон принял участие, которое было засвидетельствовано во французском суде.

Похитивший Миллера генерал Скоблин исчез навсегда, и под судом оказалась его жена, Плевицкая. На суде она рассказала, что Макс Эйтингон «одевал ее с головы до ног», а также финансировал издание двух ее автобиографических книг (которые содержат посвящение Максусу). ⁵⁵ Эйтингон специально приезжал в Париж во время похищения Миллера и провожал Плевицкую на вокзал, чтобы она бежала к нему в Палестину. Он же прислал Скоблиным шифровальные коды. Более того, в дневнике Плевицкой есть указание на то, что Скоблин познакомился «с большевиками» в 1920-м г. именно у Макса Эйтингона.

Вероятно, усилия Эйтингона по развитию психоанализа контролировались правительством большевиков, скорее всего, самим Троцким. С поражением оппозиции эти источники финансирования закончились; агентуру же про-

должали использовать в новых целях, и Макс оказался полностью зависим от своего родственника, Наума Эйттингона. Возможно также, что после своей второй эмиграции (из Германии в Палестину в 1933) он пытался таким способом помочь борьбе с нацизмом. Как бы то ни было, но сложная игра Троцкого с психоанализом привела, при посредстве Эйттингонов, к финальному удару ледоруба. . . По пути, однако, произошли события, для понимания которых стоит еще раз вернуться к отношениям жизни и литературы.

Эмиграцию Троцкого сопровождали события, которые подчинялись не политической, а иной логике: «политически бесцельные акты обнаженной мести», — такими видел их сам Троцкий.⁵⁶ Его недоумение можно понять: источники сталинских представлений, архетипические или, во всяком случае, долитературные, и сегодня не поддаются более точному определению. Жертва перед собственной гибелью должна была видеть гибель собственных детей.

Технические средства мести тоже подчинялись механизму зловеще-логического нарратива. Двое детей Троцкого, уехавшие с ним в эмиграцию, умерли при обстоятельствах, заставляющих подозревать участие в их смерти врачей. В 1938 г. сын Троцкого Лев Седов погиб в русской хирургической клинике в Париже; историки не сомневаются в том, что в его смерти приняла участие команда Наума Эйттингона. 5 января 1933 г. дочь Троцкого Зинаида Волкова покончила с собой, проходя психоанализ у берлинского аналитика.⁵⁷ Более конкретные обстоятельства ее гибели неизвестны и, в отличие от смерти ее брата, не привлекали к себе внимания историков.

К моменту гибели Зинаиды, ее анализ длился уже более года. Она вырвалась из России в конце 1930 г. и страдала депрессиями. Троцкий, пользуясь своими политическими связями и будучи ограничен в средствах, сумел устроить ее к некоему психоаналитику, который, согласно воспоминаниям секретаря Троцкого, «бегло говорил по-русски».⁵⁸ Вся история содержит фигуры умолчания; имя аналитика неизвестно.

В феврале 1932 г. Зинаида, вместе с другими членами семьи Троцкого, была лишена права возвращения в СССР. Уже после этого ее психоаналитик, якобы по медицинским показаниям, настойчиво рекомендовал ей вернуться на родину. Создание подобной ситуации неразрешимого

противоречия — эффективный способ довести пациента до предела отчаяния. Как писал Троцкий в открытом письме Сталину: «Врачи-психиатры заявили единодушно, что только скорейшее возвращение ее в обычные условия, к семье, к труду может спасти ее. Но именно эту возможность отнимал ваш декрет».⁵⁹ Троцкий был прав, возлагая ответственность за гибель дочери на Сталина; но в этом случае он так и не понял механизма исполнения его мести. Психоаналитиком Зинаиды был, вероятно, не сам Макс Эйтингон, который почти не практиковал;⁶⁰ но, руководя берлинским психоанализом вообще и русскоязычными, просоветски настроенными аналитиками в особенности, он контролировал ситуацию. Если наши предположения верны, то Зинаида Волкова оказывается первой жертвой в кампании сталинской мести, которую осуществлял Наум Эйтингон, пользовавшийся разными — в данном случае профессиональными — услугами своего берлинского родственника.

Поразительно, что этот детектив оказался столь прочно забытым. Возможно, это произошло потому, что история Зинаиды Волковой с трудом укладывается в нарратив русского образца. Сталинская месть ориентировалась на иные стандарты; а двойная жизнь Макса Эйтингона — этого доктора Джекила и мистера Хайда новейшей интеллектуальной истории — хоть и имеет литературные прецеденты, но слишком сильно отклоняется от понимания человека как романтического героя, целостного психологического субъекта с линией поведения, имеющей смысл. Доведение до самоубийства на психоаналитической кушетке составило бы сюжет для американского фильма, но его трудно представить себе в русском романе. Мемуары Судоплатова — шефа Наума Эйтингона — и сегодня кажутся неправдоподобными; злодейства 20-го века не уместаются в литературные рамки, заданные в 19-м. Давая смысл жизни Саломе, Шпильрейн, Метнера, Осипова, Панкеева (и даже Плевницкой), оставив им пространство для борьбы и выхода за свои пределы, русская литература не запрограммировала Зину Волкову и Макса Эйтингона.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Письмо Фрейда Т. Рейку цит. по: Rice J. L. Dostoevsky and the Healing Art. — Ann Arbor, 1985. — P. 76.
- 2 Фрейд З. «Я» и «Оно». — Тбилиси, 1991. — Т. 1. — С. 395.
- 3 Историю Сергея Панкеева и обзор литературы о нем см.: Эткин А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. — СПб., 1993. — Гл. 3; Rice J. L. Freud's Russia. National Identity in the Evolution of Psychoanalysis. — New Brunswick, 1993.
- 4 Obholzer K. The Wolf-man Sixty Years Later. — London, 1980. — P. 88.
- 5 Мандельштам О. Собр. соч. — М., 1991. — Т. 2. — С. 333.
- 6 См.: Эткин А. «У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман из жизни нэпманов, или пародия на советский психоанализ // Звезда. — 1993. — N 8. — С. 192–200.
- 7 Ср., однако, более гибкий подход в анализах Светланы Бойм: Boym S. Death in Quotation Marks. Cultural Myths of the Modern Poet. — Harvard, 1991.
- 8 Цит. по: Livingstone A. Salome, her Life and Work. — New York, 1984. — P. 9.
- 9 Andreas-Salome L. Ma vie / Ed. par E. Pfeiffer. — Paris, 1997. — P. 24.
- 10 Письмо Ницше Полю Рэ от 21 марта 1882 г. Цит. по: Nietzsche, R. e. e., Salome. Correspondance. — Paris, 1979.
- 11 Ibid. — P. 62.
- 12 Запрещенная русской цензурой, поэма Лермонтова вышла в Германии раньше, чем в России, и не раз переводилась на немецкий (впервые в 1852 г. Ф. Боденштедтом, лично знавшим как Лермонтова, так и Ницше). — Лермонтовская энциклопедия. — М., 1981. — С. 393.
- 13 Фрейд З. Из истории детского невроза // Фрейд З. Психоаналитические этюды. — Минск, 1991; Фрейду, вероятно, показалось бы близким предисловие к «Герою нашего времени», где Лермонтов сближает писателя с врачом как целителей общественных пороков.
- 14 Написано в конце апреля 1884 г. Цит. по: Peters H. F. My Sister, my Spouse. — London, 1963. — P. 176.
- 15 Ферстер-Ницше Э. Возникновение «Так говорил Заратустра» // Ницше Ф. Так говорил Заратустра. — М., 1990. — С. 291.

- 16 См.: Андреас - Саломе Л. Фридрих Ницше в своих произведениях // Северный вестник. — 1896. — N 3—5.
- 17 P a r e r n o I. Chernyshevsky and the Age of Realism. A Study in the Semiotics of Behavior. — Stanford, 1988; см. также: M a t i c h O. Dialectics of Cultural Return: Zinaida Gippius' Personal Myth // Cultural Mythologies of Russian Modernism. — Berkeley, 1992. — P. 52—72.
- 18 Неопубликованные воспоминания С. Н. Шиль хранятся в Научной библиотеке Московского университета. — Ед. хр. 1004.
- 19 Азадовский К. Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. — СПб., 1992.
- 20 A n d r e a s - S a l o m e L. Correspondance avec Sigmund Freud. — Paris, 1970. — P. 333.
- 21 Подробнее см.: Э т к и н д А. Эрос невозможного. — Гл. 1.
- 22 И в а н о в а Л. Воспоминания. Книга об отце. / Подгот. текста Дж. Мальмстада. — Париж, 1990. — С. 217.
- 23 ГНБ (Москва). — Ф. 167. Оп. 14. Ед. хр. 62; частично опубликованы в кн.: Э т к и н д А. Эрос невозможного. — С. 73—76.
- 24 Ю н г К. Г. Избранные труды по аналитической психологии / Авториз. изд. под общей ред. Э. Метнера. — Цюрих, 1929. — Т. 1: Психологические типы; <Цюрих, б/д>. — Т. 2: Libido, ея метаморфозы и символы; Цюрих, 1939. — Т. 3: Опыт изложения психоаналитической теории и другие статьи.
- 25 Вышеславцев Б. <Рец.> // Путь. — 1930. — N 20. — С. 111—113.
- 26 Вышеславцев Б. Этика преображенного эроса. — Париж, 1931. — С. VI.
- 27 И в а н о в а . Воспоминания. — С. 217—218.
- 28 И в а н о в В. И. и М е т н е р Э. К. Переписка из двух миров. Публикация В. Сапова // Вопросы литературы. — 1994. — N 2. — С. 306.
- 29 Там же. — С. 307.
- 30 The Freud-Jung letters. — P. 495.
- 31 Тем не менее, не только сталинско-брежневские идеологи утверждали, что психоанализ чужд российскому обществу. «Фрейдизм во всех его разновидностях и этапах <...> так никогда и не был пережит в русской культуре», — писал в эмиграции Александр Пятигорский. (П я т и г о р с к и й А. О психоанализе из современной России // Россия. Russia. — 1977. — N 3. — С. 29—50). На этой фактически неверной оценке основывает свои рассуждения, сами по себе замечательные, Борис Гройс (см.: Г р о й с Б. Утопия и обмен. — М., 1993. — С. 245—259).
- 32 О работе Осипова в Чехословакии см.: Э т к и н д А. Эрос невозможного. — С. 264—268.

- 33 О символистах писал только Николай Баженов, впрочем, не психоаналитик, а психиатр; см.: Баженов Н. Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. — М., 1903.
- 34 Краинский Н. В. Лев Толстой как юридивый. — Белград, б.д. — С. 29, 5.
- 35 Там же. — С. 21.
- 36 Там же. — С. 20.
- 37 Краинский Н. В. Без будущего. Очерки по психологии революции и эмиграции. — Белград, 1931. — С. 106.
- 38 Там же. — С. 183—185.
- 39 Блок А. Собр. соч. — М.; Л., 1962. — Т. 5. — С. 355.
- 40 Краинский Н. В. Без будущего. — С. 186, 83.
- 41 Ермаков И. Д. Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина. — М.; Пг., 1923; Ермаков И. Д. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя. — М.; Пг., 1924.
- 42 Осипов Н. Е. Страшное у Гоголя и Достоевского // Жизнь и смерть. — Прага, 1935. — Т. 1. — С. 134.
- 43 Там же. — С. 131.
- 44 Там же. — С. 129.
- 45 Цит. по: Досужков Ф. Н. Невроз боязни, страх смерти и страх привидений // Жизнь и смерть. — Т. 2. — С. 127.
- 46 Там же. — С. 134.
- 47 Ее биографию см.: Эткин А. Эрос невозможного. — Гл. 5. Некоторые новые материалы, не вошедшие в книгу, см.: Эткин А. Еще об Л. С. Выготском: забытые тексты и найденные контексты // Вопросы психологии. — 1993. — N 4. — С. 37—54; Kerr J. A Most Dangerous Method. — New York, 1993.
- 48 Spielrein S. Die Destruction als Ursache des Werdens // Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1912. — N 4. — S. 465—503; английский перевод см.: Spielrein S. Destruction as the Cause of Coming into Being // The Journal of Analytical Psychology. — 1994. — V. 39. — N. 2. — P. 155—186.
- 49 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного. — М., 1989. — С. 417.
- 50 См. Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре 18-го века // Лотман Ю. М. Избранные статьи. — Таллинн, 1992. — Т. 1. — С. 248—268.
- 51 Freud S. and Zweig S. Correspondence. — New York, 1988.
- 52 Цит. по: De Mijola A. Les mots de Freud. — Paris, 1989. — P. 208—209.

- 53 Штейнберг А. Друзья моих ранних лет / Подгот. текста Ж. Нива. — Париж, 1991. — С. 248.
- 54 Опубликованы в: Эткинд А. Эрос невозможного. — Гл. 7; см. также: Максимова В. Дело Плевицкой // Московский наблюдатель. — 1993. — N 2/3. — С. 59. Вместе с тем, роль Макса Эйтингона в парижском и других делах не раз оспаривалась историками.
- 55 Недавно переизданы: Плевицкая Н. Дежкин карагод: Воспоминания. — СПб., 1994; посвящение см. с. 82.
- 56 Троцкий Л. По поводу смерти З. Л. Волковой // Бюллетень оппозиции. — 1933. — март. — С. 29–30.
- 57 Дойчер И. Троцкий в изгнании. — М., 1991. — С. 214.
- 58 Van Heijenoort J. With Trotsky in Exile. From Prinkipo to Coyoacan. — Cambridge (Mass.), 1978. — P. 35.
- 59 Троцкий Л. По поводу смерти З. Л. Волковой.
- 60 В одном письме речь идет о некоем докторе Мае; см.: Волкогонов Д. Троцкий. — М., 1992. — Т. 2. — С. 157.